

Ламздорф Виктор Николаевич

Дневник 1891-1892 гг

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
В43

В43 **Виктор Николаевич Л.**
Дневник 1891-1892 гг / Ламздорф Виктор Николаевич – М.: Книга по Требованию, 2026. – 430 с.

ISBN 978-5-519-92395-8

ISBN 978-5-519-92395-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Ц Е Н Т Р А Р Х И В

В. Н. ЛАМЗДОРФ

Д Н Е В Н И К

1891—1892

*Под редакцией и с предисловием
Ф. А. Ротштейна*

*Подготовил к печати В. М. Хвостов
Перевод с французского Ю. Я. Соловьева*

А С А Д Е М І А

1934

Переплет и супер-обложка М. В. М а т о р и н а.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемая ныне читателю часть дневника графа Ламздорфа, возглавлявшего в 1900—1906 гг. министерство иностранных дел царской России, а в годы, к которым относятся его настоящие записи, состоявшего „первым советником“ при министре иностранных дел К. Н. Гирсе, является продолжением первой части, опубликованной в 1926 году и обнимающей период деятельности автора от 1886 до 1890 годов*.

Из дневника видно, что первый советник был чем-то вроде начальника кабинета министра — „private secretary“, как он именуется у англичан, — на обязанности которого лежали изучение и разработка текущих дел и заготовление для министра директивных писем дипломатическим представителям за границей. Фактическое ведение переговоров, беседы с иностранными представителями — вообще внешние сношения в собственном смысле слова лежали вне компетенции советника, который поэтому не все знал, но мог знать, если министр питал к нему особое доверие и сообщал ему свои дипломатические разговоры и планы. В данном случае советник, повидимому, был поставлен в исключительное положение: насколько велико было доверие к нему начальника, видно из того, что, например, перипетии и даже самый факт создавшегося тогда политического сближения с Францией были во всем иностранном ведомстве известны только Гирсу и Ламздорфу и оставались секретом даже для таких старых, посвященных во множество других тайн русской дипломатической кухни послов, как берлинский Шувалов и венский Лобанов. Отсюда и политическая ценность дневника. Ламздорф очень многое знал, и то,

* „Дневник В. Н. Ламздорфа (1886—1890)“, изд. Центрархива, Государственное издательство, М.—Л. 1926 г.

что знал, он записывал с примерной откровенностью, присоединяя к этому и свои собственные соображения и комментарии, которые, при его несомненно большом и тонком уме, представляют большой интерес.

Правда, дневник далеко не полон: в записях имеются большие пробы, вероятно, объясняющиеся недомоганиями, физическими и „психологическими“, автора. Но и с этими прорывами дневник весьма богат содержанием. В нем, прежде всего, рельефно выступает призрачность дипломатической работы царского министерства иностранных дел. По существу, министерство являлось не чем иным, как канцелярией царя по ведению внешней политики. Достаточно сравнить с изображаемыми в дневнике взаимоотношениями царя и его министра аналогичную картину взаимоотношений кайзера и его канцлеров, вырисовывавшуюся в дипломатической переписке германского министерства иностранных дел, чтобы видеть, во сколько раз последнее, несмотря на служебную и моральную субординацию немецких министров и постоянное вмешательство кайзера в их работу в виде „темпераментных“ телеграмм и помет, было даже при таком угодливом канцлере, как Бюлов, самостоятельное русского иностранного ведомства.

Конечно, Гирс был человек несильный, от чего даже Ламздорф, сам не принадлежавший к героическим натурам, не раз приходил в отчаяние, а однажды был даже „внутренне озлоблен“; кроме того, будучи наполовину „инородцем“, мишенью всех „истинно-русских“ последователей Каткова, не обладая собственным состоянием, Гирс, как констатировал его первый советник, весьма дорожил своим постом и, следовательно, царской милостью. С другой стороны, царь Александр III, обзывавший сербского короля Милана „подлецом“, королеву Викторию — „старой сплетницей“, японцев — „обезьянами, играющими в европейцев“, принца Наполеона — „скотом“ и т. д., был, как его аттестуют и Ламздорф, и его друг Зиновьев, исключительно грубый человек, у которого легко было „нарваться“ на оскорбление. Но дело было не в этом одном, а в том, что царь был, действительно, свой собственный министр, которому Гирс служил таким же советником, каким являлся по отношению к нему Ламздорф. Вся дипломатическая переписка посылалась ежедневно с курьером царю на прочтение, и царь так же регулярно возвращал ее обратно с пометами и заключениями, являвшимися официальными и непреложными директивами. Какое значение имели эти выражения царской воли, видно из того, что однажды, предполагая, что царские пометы выражали несогласие или неодобрение, Ламздорф впал в мрачное настроение и готов был предложить свою отставку. Но еще больше значения имели личные доклады Гирса царю, которые происходили еженедельно и на которых решались основные вопросы внешней политики. Гирс с помощью Ламздорфа готовился к ним, как школьник к экзаменам, и ездил к царю с душевным трепетом. Сам Ламздорф в этот день

ходил в Казанский собор молиться, и Гирс, по возвращении, всегда усталый, немедленно приглашал его к себе и сообщал, как „сошел“ доклад и какие разговоры велись за царским завтраком, к которому его после доклада неизменно приглашали. Таким образом, иностранную политику своего государства вел сам царь.

Чем он руководствовался в своих суждениях и решениях? Каким влияниям и воздействиям подвергался он в своем персональном окружении? К каким советникам прислушивался? Это в дневнике, конечно, не отражается. Ламздорф в нескольких местах, от себя и со слов других лиц, говорит об антигерманском влиянии царицы, урожденной датской принцессы, не забывшей аннексии Шлезвиг-Гольштейни пруссаками. Несомненно, в этом была доля правды. Но все же, разумеется, не это было решающим фактором в политике Александра III даже по этому огромной важности вопросу об отношениях с Германией. Помимо царицы, Александр III имел вокруг себя ряд гораздо более авторитетных для него советников в лице брата Владимира и других великих князей, а еще важнее — Победоносцева, Д. Толстого, Дурново, Обручева и др., о которых в дневнике Ламздорфа упоминается лишь изредка, и то мимоходом. Но как раз вопрос об отношениях с Германией вместе с сопутствующим ему вопросом о сближении с Францией составляет самую важную тему настоящей части дневника.

Если центр тяжести первой части дневника лежит в записях, посвященных разрыву „провода“ с Германией (в связи с невозобновлением перестраховочного договора 1887 г.), то главный политический интерес этой второй части его сосредоточен в записях, излагающих процесс нарастания в русских правительственных сферах прямого германофобства, выражающегося в желании царя воспользоваться первым случаем, чтобы разгромить Германию, и параллельный ход политического, а затем и военного сближения с Францией. Фактически мы стоим у колыбели франко-русского политического и военного союза, запечатленного историческим обменом нот между Рибо и Моренгеймом и военной конвенцией, подписанной начальниками генеральных штабов. Это был поворотный момент в иностранной политике русского царизма, по резкости не имевший себе равных в прошлом и превосходивший по своим последствиям даже последующий поворот, связанный с заключением в 1907 г. соглашения с Англией.

Мы узнаем, что Гирс и Ламздорф шли на этот крутой поворот с большой неохотой, упираясь на каждом шагу. Конечно, с совершившимся фактом, каким был акт невозобновления Германией старого договора, и им пришлось считаться, а этот факт означал изоляцию России, что на дипломатическом языке Ламздорфа эвфемистически называлось „свободой“ и „независимостью“. Наталкиваясь на каждом шагу в своей среднеазиатской и ближневосточной политике, а в особенности в своих поли-

тических устремлениях на Балканы и к проливам, на сопротивление Англии (как раз на данном этапе произошел конфликт с ней на Памире), Россия, покинутая Германией в момент возобновления тройственного союза, действительно, очутилась в весьма незавидном положении, которое осложнялось еще и таможенной войной с Германией, ознаменовавшей истечение срока прежнего торгового договора, и беспрецедентным народным голодом, приведшим в чрезвычайное расстройство государственные финансы и обороноспособность страны. При таких условиях — а немцы к тому же беспрестанно мусировали по Европе слухи о возможностях войны — сами Гирс и Ламздорф сознавали необходимость сближения с Францией, которая уже оправлялась от своего поражения в военном и финансовом отношении и добивалась союза с Россией как старой противницей Англии, а ныне и Германии. Но сблизиться с Францией для того, чтобы выйти из собственного состояния изоляции и застраховать себя на всякий случай против Германии, было одно, и совершенно иное было сближаться с Францией для того, чтобы вывести из изоляции ее и, питая в ней реваншистские идеи, дать вовлечь себя в войну или толкнуть на превентивную войну Германию. Войны и Гирс с Ламздорф боялись больше всего на свете, так как были уверены, что она принесет с собой не просто бедствия, но и революцию, как писал об этом Ламздорф в первой части своего дневника. Меж тем к Франции, с ее вечно меняющимися министерствами, буйными припадками шовинизма и как раз в это время участвовавшими актами анархического террора, у обоих дипломатов не было никакого доверия, хотя и Германия, с ее молодым кайзером, произносившим воинственные речи, и мощным ростом социал-демократии внушала им немалое беспокойство. Что же было при таких обстоятельствах делать?

По мнению Гирса, которое разделял и Ламздорф, следовало, не давая Франции „компрометировать“ себя и не „таская для нее из огня каштанов“, противопоставить союз с нею тройственному союзу, отнюдь однако не оформляя его и не связывая себя никакими договорами и конвенциями: в случае войны Россия могла бы остаться нейтральной, а затем сыграть роль арбитра и при этом разрешить свои „исторические задачи“ на востоке. Нельзя сказать, чтобы эта стратегическая линия отличалась большой четкостью. Она, повидимому, строилась на несколько наивном предположении, что французы пойдут на союз, со всеми вытекающими из него для них обязательствами, не обеспечив себя взаимностью услуг при помощи договоров и конвенций; в основе же ее было сильное нерасположение к интимности с Францией и к слишком далекому и непоправимому отходу от Германии. Эту линию Гирс и Ламздорф пытались проводить, соглашаясь лишь на обмен нот с французским правительством, которые должны были оставаться секретными и в силу которых оба правительства обязывались согласовать меры в случае угрозы нападения

на ту или другую сторону, без упоминания военной помощи. Дальше Гирс и его советник не хотели идти и сильно негодовали, когда французы захотели большего и старались осторожным разглашением секретной сделки разрушить все мосты к отступлению („компрометировали“ их, как называл эти маневры Ламздорф). Но тут они столкнулись с волей царя, который являлся в этом случае представителем сил, гораздо более могущественных.

Ориентация русской иностранной политики на дружбу с Германией подсказывалась до сих пор преимущественно аграрно-экспортными интересами помещиков: германский рынок и в последние годы, о которых идет в дневнике речь, поглощал русского хлеба на триста миллионов рублей ежегодно; династическая солидарность и согласие Германии на эвентуальное решение „исторических задач“ России в ее пользу были моментами лишь дополнительного значения. Но в те же восьмидесятые годы бурно развився русский промышленный капитал, который крайне нуждался в защите от германской конкуренции, требовал для себя высоких охранительных пошлин и приходил в ярость, встречая сопротивление со стороны германского собрата, настаивавшего на льготах для своего вывоза в Россию и отвечавшего репрессиями финансового порядка на ввоз оттуда. Во имя „национальных“, истинно-русских интересов русский капитал настаивал на прекращении прежней интимности с Германией и, должным образом оценивая значение денежного рынка Франции, усиленно рекомендовал сближение с ней. На этой патриотической почве он вполне сошелся со старым славянофильством и мог выдвинуть в качестве своих адвокатов таких влиятельных патриотов, как Катков, Д. Толстой и др., пользовавшихся у царя и великих князей особым вниманием.

„Позиция Каткова,—говорил однажды Гирс в интимной беседе с тогдашним германским поверенным в делах Бюловым,—объясняется тем, что он лично участвует в предприятиях и спекуляциях тех ультрапротекционистских промышленников, которые злы на Германию за то, что она не хочет допустить дальнейшего повышения наших таможенных ставок на железо и уголь. Сам царь,—прибавил Гирс,—недавно признал, что политическое направление Каткова часто определялось материальными мотивами и целями“ (см. „Die grosse Politik“, т. V, стр. 977). Вот эти силы и преодолели у подножия царского трона консерватизм Гирса и, несмотря на его сопротивление, маневры, оттяжки и всякий иной саботаж, привели к заключению военной конвенции, решившей спор в пользу Франции. В интересах „отечественного“ капитала царь, для которого всякий парламент, как он выражался, был „балаганом“, примирился с республиканским строем Франции, закрыл глаза на ее антицерковную политику, слушал Марсельезу стоя и послал президенту Карно орден Андрея Первозванного. Правда, одновременно и с Германией был заключен торговый договор, по которому пришлось несколько поступиться интересами

русского капитала: очень уж тяжело падали на чашки весов триста миллионов хлебного экспорта, в которых министр финансов Вышнеградский, по его чистосердечному признанию, тогда сильно нуждался; но это не изменило положения вещей, созданного заключением союза с Францией.

Любопытна реакция, которую это положение вызвало в уме Ламздорфа. Толчок к ней, правда, был дан тем же Вышнеградским, который, стоя перед раскрывшейся перед ним в связи с голодом и ссорой с Германией финансовой бездной („наше экономическое и финансовое положение ужасно“, — говорил он в одном случае и требовал сближения с Германией, так как французы „надуют“), пришел к нему спросить, нельзя ли добиться путем международного соглашения хотя бы ограничения вооружений. Ламздорф, незадолго до этого не возражавший против войны между Францией и Германией, в которой Россия могла бы играть роль арбитра, сейчас превращается в пацифиста и мечтает о том, чтобы созвать международный конгресс, который ликвидировал бы создавшиеся две группировки держав, обеспечил бы ограничение и сокращения вооружений и воссоздал бы единую Европу на новой основе. В этой мысли, несомненно, сочетались и антипатия сближению с Францией, и боязнь войны, в которую Россия может быть вовлечена, и внушения Вышнеградского, исходившего из финансово-экономических соображений. В ней мы находим истоки той знаменитой инициативы, которую через несколько лет царская дипломатия взяла на себя по созыву „мирной“ конференции в Гааге, со всеми ее дальнейшими отпрысками до наших дней.

В частности, по поводу вовлечения России в войну, Ламздорф в другом месте с большой проницательностью замечает: „Мне кажется, что нам следует опасаться не нападения, а создания такой обстановки, которая неизбежно приведет к конфликту без возможности при этом определить, кто именно является нападающей стороной... Ничтожный инцидент на Балканах может нас поставить в такое положение, при котором без малейшего нашего желания нам придется оказаться в роли нападающего“. Если эти слова и не совсем верно рисуют роль России в империалистической войне, то они в значительной мере применимы к другим державам, в ней участвовавшим.

Как мы выше сказали, эта тема русско-германских и франко-русских отношений составляет главный интерес данной части дневника Ламздорфа. Но читатель найдет немало и других интересных тем и отдельных эпизодов. Немалый исторический интерес представляет, например, до сих пор остававшийся неизвестным эпизод переговоров, или, скорее, разговоров с болгарским экзархом будто бы, а может быть, и действительно от имени Стамбулова, пресловутого болгарского диктатора, которого царская официальная и официозная пресса называла не иначе как „палочником“, но которого Ламздорф характеризует как сильного и спо-

собного государственного деятеля. Сам Ламздорф многократно в своих записях осуждает русскую политику по отношению к Болгарии, — в частности, знаменитую царскую телеграмму 1886 г. принцу Баттенбергскому, посланную вопреки совету министров и приведшую к разрыву отношений с Болгарией, и не перестает говорить о необходимости покончить с болгарской „неразберихой“. Инициатива экзарха (или Стамбулова) была министерством немедленно подхвачена, но переговоры ни к чему не привели, так как Болгарии опять были поставлены неприемлемые условия. Как известно, пять лет спустя, в 1896 г., после смерти Александра III и убийства Стамбулова, царская дипломатия смягчилась и помирилась с Болгарией и с ее долго непризнававшимся князем Фердинандом; но на тех же условиях отношения могли быть восстановлены уже в 1891 г., когда Ламздорф на этом настаивал, и Австрия в таком случае не приобрела бы в Болгарии тех позиций, которые впоследствии во время империалистической войны так явно послужили ей на пользу.

Не лишено историческо-политического интереса и приводимое Ламздорфом мнение его коллеги Зиновьева, бывшего начальника Азиатского департамента и впоследствии посла в Турции, человека, следовательно, хорошо знавшего Средний и Ближний Восток, вокруг которого велась истинно неустанная борьба с Англией, об отношениях с последней: „Вся наша политика должна быть направлена на заключение соглашения с английским кабинетом; время для этого еще не наступило, но... Средняя Азия представляет ту арену, на которой в более или менее близком будущем мы придем или к грандиозной борьбе или же к соглашению, которое было бы шедевром дипломатического искусства“. И Ламздорф от себя прибавляет: „Все это заслуживает размышления“. Настанет время, когда он, будучи уже сам министром, положит начало реализации этого плана своего товарища, вызвавшего его на „размышления“. Уже в конце 1905 г. он давал инструкции русскому представителю на алжирасской конференции графу Кассини вести переговоры со своим английским коллегой Никольсоном о соглашении.

Вопросы внутренней жизни России того времени также мелькают иногда на страницах его дневников. Преследования евреев многократно у него упоминаются, вызывая негодование как у него самого, так и у его начальника и у Вышнеградского, хорошо понимавших международное политико-финансовое значение этих диких мер. И всенародный голод 1891 г. также привлекает его внимание своей экономической и финансовой сторонами, а также бессердечным и спекулянтским отношением к нему, проявленным так называемым „обществом“ и двором. Вообще по части этого общества и самого двора Ламздорф „проживает“ довольно часто и довольно едко. Царя и его наследника он изображает с самой невыгодной стороны; в царице Марии Федоровне он усматривает настоящее народное бедствие и приписывает ее „дурному глазу“ ряд крупней-

ших неудач. Он не стесняется передавать, что Вышнеградского считают вором; посла Моренгейма он называет „странной личностью“ и спекулянтом, вел. князь Сергей Александрович у него „комическая личность“, генерал Комаров — „почти честный человек“, а Витте — выскочка и карьерист. Нравы аристократического общества он достаточно ярко рисует, когда говорит про вел. княгиню Ольгу Федоровну, что она „радуется связи своего сына с Барятинской и думает, что город достаточно велик, чтобы поставлять любовниц и другим ее сыновьям“, или когда он совершенно серьезно, приводя слух о желании бонапартовского принца Виктора жениться на какой-то великой княжне, говорит о его „порядочности“: он-де „живет уединенно в окрестностях Брюсселя со своей любовницей и ребенком, к которым он, повидимому, привязан“. Любопытный штрих представляет также его беседа со своим массажистом, который осуждает строгость царя, объявившего „несостоявшимся“ неравный брак одного из великих князей; повидимому, во мнении Ламэдорфа это был голос народа...

Царизм извне казался еще тогда несокрушимой крепостью, но это было на деле последнее двадцатипятилетие — мизерный срок в истории страны — его существования. Внутри уже все было гнило и ничтожно — от царя и его окружения до последнего генерала, и эту гниль и ничтожество рисует нам довольно ярко автор дневника. Для политического историка и историка нравов этот дневник — драгоценный документ.

Ф. Ротштейн